

pocket**book**

rocket**book**

Валентин РАСПУТИН

ЖИВИ И ПОМНИ



Москва
2020

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Р24

В оформлении обложки использована
репродукция картины художника
Теодора Аксентовича:
Historic Collection / Alamy Stock Photo / Legion Media

Распутин, Валентин Григорьевич.
Р24 **Живи и помни / Валентин Распутин. —**
Москва : Эксмо, 2020. — 320 с.

ISBN 978-5-04-110242-5

Имя Валентина Распутина широко известно и в России, и за ее пределами — его книги переведены на многие языки мира. В его творчестве нашла отражение острейшая проблема конца XX века: разрушение природы и нравственности под воздействием цивилизации. Писатель задается вопросами о смысле жизни, о соотношении нравственности и прогресса, о смерти и бессмертии. И о том, что делает человека человеком: о мужестве и достоинстве, о терпении и вере. В. Распутин создает образы русских женщин, носительниц нравственных ценностей народа, его философского мироощущения, развивающих и обогащающих образ сельской праведницы. В повести «Живи и помни» писатель рассказал неоднозначную историю солдата, которого все считают дезертиром, показав трагичность и крайнюю степень несовершенства военного времени.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Распутин В.Г., наследники, 2020
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2020

ISBN 978-5-04-110242-5

ЖИВИ И ПОМНИ

1

Зима на сорок пятый, последний военный год в этих краях простояла сиротской, но крещенские морозы свое взяли, отстучали, как им полагается, за сорок. Прокалившись за неделю, отстал с деревьев куржак, и лес совсем помертвел, снег по земле закрип и крошился, в жестком и ломком воздухе по утрам было трудно продохнуть. Потом снова отпустило, после этого отпустило еще раз, и на открытых местах рано затвердел наст.

В морозы в бане Гуськовых, стоящей на нижнем огороде у Ангары, поближе к воде, случилась пропая: исчез хороший, старой работы, плотницкий топор Михеича. Сроду, когда надо было что-то убрать от чужих глаз, толкали под непришитую половицу сбоку от каменки, и старик Гуськов, крошивший накануне табак, хорошо помнил, что он сунул топор туда же. На другой день хватился — нет топора. Обыскал все — нет, поминай как звали. Зато, облизав вдоль и поперек баню, обнаружил Михеич, что топор — не единственная его потеря: кто-то, хозяйничавший здесь, прихватил заодно с полки добрую половину листового табаку-самосаду и позарился

в предбаннике на старые охотничьи лыжи. Тогда-то и понял старик Гуськов, что вор был дальний и топора ему больше не видать, потому что свои, деревенские, лыжи не взяли бы.

Настена узнала о пропаже вечером, после работы. Михеич за день не успокоился: где теперь, в войну, возьмешь такой топор? Никакого не возьмешь, а этот был словно игрушечка — легкий, бриткий, как раз под руку. Настена слушала, как разоряется свекор, и устало думала: чего уж так убиваться по какой-то железяке, если давно все идет вверх тормашками. И лишь в постели, когда перед забытием легонько занывает в покое тело, вдруг екнуло у Настены сердце: кому чужому придет в голову заглядывать под половицу? Она чуть не задохнулась от этой нечаянно подвернувшейся мысли, сон сразу пропал, и Настена долго лежала в темноте с открытыми глазами, боясь шевельнуться, чтобы не выдать кому-то свою страшную догадку, то отгоняя ее от себя, то снова подбирая ближе ее тонкие, обрывающиеся концы.

В эту ночь Настена не выспалась, а утром чуть свет решила сама заглянуть в баню. Она не пошла по телятнику, где в снегу была вытоптана дорожка, а по общему заулку спустилась к Ангаре и повернула вправо, откуда над высоким яром виднелась за городьбой крыша бани. Постояв внизу, Настена осторожно поднялась по обледенелым ступенькам вверх, перелезла, чтобы не скрипнуть калиткой, через заплот, потопталась возле бани, боясь войти сразу, и лишь тогда тихонько потянула на себя низенькую дверку. Но дверка пристыла, и Настене пришлось дергать ее изо всех сил. Нет, значит, никого тут нет, да и не может быть. В бане было темно, ма-

ленькое окошечко, выходящее на Ангару, на запад, только-только начинало заниматься блеклым, полумертвым светом. Настена села на лавку у окошечка и чутко, по-звериному стала внюхиваться в банный воздух, пытаясь найти новые и непривычные, знакомые когда-то давно запахи, но ничего, кроме резкого и горьковатого духа подмерзшей прели, отыскать не смогла. «Выдумала, дура, чего-то», — упрекнула она себя и поднялась, не понимая толком, зачем она сюда приходила и что тут хотела найти.

Днем Настена возила с гумна солому на колхозный двор и всякий раз, спускаясь с горы, как замороженная, посматривала на баню. Одергивала себя, злилась, но пялилась на темное и угловатое пятно бани снова и снова. Солому приходилось выколупывать из-под снега железными вилами, набрасывая на сани по жвачке, и за три ездки терпеливая к любой работе Настена умаялась так, что хоть веди под руки. Сказалась, видно, к тому же бессонная ночь. Вечером, едва поев, Настена упала в постель как убитая. То ли ей что ночью приснилось, да она заспала и забыла, то ли на свежую голову пало само, но только, проснувшись, она уже точно знала, что делать дальше. Выбрала в амбаре самую большую ковригу хлеба, завернула ее в чистую холстину и тайком отнесла в баню, оставив хлеб на лавке в переднем углу. Посидела еще, подумала, размышляя, в своем она уме или нет, и ушла, притворив за собой дверку с тайным, заклинаящим вздохом.

Два утра после этого проверяла Настена — ковригу никто не тронул. Тогда она обменяла ее на другую, свежей выпечки, и положила туда же, на видное место. Она уже ни на что не надеялась, но какая-то не-

спокойная, упрямая жуть в сердце заставляла ее искать продолжения истории с топором. Не мог чужой догадаться, что под плахой тайник, — вот она, плаха, намертво лежит рядом с другими, не шевельнется, не дрогнет, хоть пляши на ней. Или кто подглядел? Хлеб, хлеб должен указать, кто это был, против хлеба устоять трудно.

Еще через два дня коврига исчезла. Не найдя ее на месте, Настена испугалась. Бессильно, со стоном опустила она на лавку и покачала головой: нет, не может быть. Не может этого быть! Наверно, зашли свекор или свекровь, увидели тут ковригу и забрали домой. Вот и все объяснение. Настена кинулась на колени — на полу валялись хлебные крошки. Нет, не свекор и не свекровь, кто-то другой. В каменке, в холодной золе, Настена разворошила окурок.

С этого часа она словно бы выглядывала из себя: что же будет дальше? Справляла домашнюю работу, ходила на работу колхозную, оставаясь на людях такой же, какой была всегда, а сама все время озиралась, пугаясь каждого стороннего звука. Но ждать, когда не знаешь как следует, чего ждешь, было больше невмоготу, и на субботу Настена затеяла баню. Семеновна отговаривала, ссылаясь на морозы, но Настена настояла на своем: она сама натаскает воды, сама протопит, им останется только помыться.

Она могла бы спроворить баню быстро, дело нехитрое, но нарочно не стала торопиться. Наколола пополам с сосновыми негарких березовых дров, позже обычного растопила каменку. День был холодный — морозы только еще начинали сдавать, — но спокойный и ясный. Поднимаясь от Ангары с водой, Настена невольно всякий раз посматривала на дым

из трубы: его черный от березы, прямой столб уходил без ветра высоко и был виден издалека. Она нагрела полный, сверх надобности, чан воды, помыла пол и полок, прикрыла трубу и уже в сумерках пошла звать стариков, не забыв сказать им, чтобы они прихватили с собой керосину для лампы.

Она была как во сне, двигаясь почти ощупью и не чувствуя ни напряжения, ни усталости за день, но делала все точно так, как и задумала. Дождалась стариков, собрала белье и на вопрос Семеновны, с кем пойдет мыться, соврала, что пойдет с Надькой. Обычно Настена звала с собой в баню кого-нибудь из соседок; смотреть на свое голое закисающее тело было больно и горько, на глаза наворачивались слезы. Но сегодня ей предстояло обойтись без подружки. В темноте, когда ночь еще не выстоялась и не посветлела, Настена добралась до бани, занавесила изнутри тряпкой окошечко и разделась, решив похлопать наскоро, потому что ее загаданный час, по всей видимости, должен был наступить позже.

Помывшись, Настена вернулась домой, прибрала при лампе перед зеркалом волосы и сказала старикам, что пойдет посидеть к Надьке, с которой будто бы ходила в баню. К Надьке Настена и правда заскочила, но ненадолго и без всякого дела, лишь бы показаться на глаза. Она торопилась обратно в баню. Тихонько, по-воровски, подкралась к двери, опасаясь, что опоздала, и прислушалась, нет ли кого внутри, потом осторожно вошла. Баня еще не выстыла, и, чтобы не взопреть, Настена пристроилась на порожке. Если кто и появится, она успеет подняться и посторониться, а пока оставалось только ждать.

Из деревни доносились последние слабые голоса, лай собак, затем все стихло. На Ангаре изредка с тугим бегущим звоном покалывало лед да вздыхала, остывая, баня. Настена сидела в полной темноте, едва различая окошко, и чувствовала себя в оцепенении маленькой несчастной зверюшкой. Что бы человеку здесь среди ночи делать? Она попыталась о чем-нибудь думать, что-нибудь вспомнить и не смогла: то, что просто было среди людей, здесь оказалось невозможным.

Позже, когда от двери стало сильно поддувать, она перешла на лавку.

Видно, она все-таки задремала, потому что не слышала шагов. Дверь вдруг открылась, и что-то, задевая ее, шебурша, полезло в баню. Настена вскочила.

— Господи! Кто это, кто? — крикнула она, обмирая от страха.

Большая черная фигура на мгновение застыла у двери, потом кинулась к Настене.

— Молчи, Настена. Это я. Молчи.

В деревне взнялись и затихли собаки.

2

Атамановка лежала на правом берегу Ангары и была всего на тридцать дворов — не деревня, а деревушка. Несмотря на свое звучное название, лежала она одиноко и потихоньку да помаленьку, еще с довоенных лет, хирела: уже пять изб — и избы крепкие, не какие-нибудь развалюхи — стояли мертво, с заколоченными окнами. Почему мелели деревни в войну, и объяснять нечего, тут причина на всех од-

на, но из Атамановки люди начали сниматься еще раньше, особенно молодые, из тех, кто не успел за-расти своим хозяйством. Их сманивали к себе поселения побольше да пошумней, с видом на будущее, а у Атамановки его не было. Она построилась когда-то на отшибе, до самой ближней деревни по своей стороне, до Карды, где располагался сельсовет, к которому была приписана Атамановка, насчитывалось больше двадцати верст. Правда, до Рыбной на другом берегу Ангары было ближе, но Рыбная всегда держалась своих нижних соседей: там сельсовет, магазины, начальство, в ту сторону район, туда и шли со всякой нуждой, а в Атамановку заплывали редко. Мимо Атамановки шлепали пароходы, провозили новости — многое проходило мимо нее, маячившей на берегу тускло и сиротливо. Даже о войне здесь узнали только на другой день.

Судьба ее, надо сказать, не вечно была такой незаметной. Свое название Атамановка получила от другого, еще более громкого и пугающего, — от Разбойниково. Когда-то в старые годы здешние мужички не брезговали одним тихим и прибыльным промыслом: проверяли идущих с Лены золотишников. Деревня для этого стоит куда как удобно: хребет здесь подходит почти вплотную к Ангаре, и миновать деревню стороной никак нельзя, хочешь не хочешь, а надо выходить на дорогу. В самом узком месте возле реки отчаянные головы и караулили ленских старателей — слава такая о деревне держалась прочно. От устной молвы название «Разбойниково» перекочевало в бумаги, но еще до Советской власти кому-то в волости оно показалось неприличным, и его заменили «Атамановкой» — и смысл вроде остается, и уши не

коробит. Местный народ, кстати, с этим переименованием почему-то не согласился. Еще и теперь, спустя много лет, старики из Карды, из Рыбной, из других деревень, как сговорившись, повторяли одно и то же:

— Вся деревня занималась разбоем, а захотели на какого-то атамана свалить. Нет уж, не выйдет.

Настену в Атамановку судьба занесла с верхней Ангары. В голодном тридцать третьем году, похоронив в родной деревне близ Иркутска мать и спасаясь от смерти сама, шестнадцатилетняя Настена собрала свою малую, на восьмом году, сестренку Катьку и стала спускаться с ней вниз по реке, где, по слухам, люди бедствовали меньше. Отца у них убили еще раньше, в первый смутный колхозный год, и убили, говорят, случайно, целя в другого, а кто целил — не нашли. Так девчонки остались одни. Все лето Настена и Катька шли от деревни к деревне, где подрабатывая на ужин, где обходясь подаяннем, которое давали ради маленькой и хорошенькой Катьки. Без нее Настена, наверно, пропала бы. Сама она походила на тень: длинная, тощая, с несуразно торчащими руками, ногами и головой, с застывшей болью на лице. Только Катька, для которой Настена осталась вместо матери, заставляла ее шевелиться, предлагать себя в работницы, просить кусок хлеба.

К осени сестры кое-как добрались до деревни Рютиная, где, Настена помнила, жила тетка по отцу. Та поворчала, поворчала, но девчонок приняла. Настена, отдышавшись, пошла в колхоз, Катьку отправили в школу. К этому времени стало полегче: принесли свои огороды, поспели хлеба. Голод, когда есть чем лечить его, лечить нетрудно, и уже к зиме Настена мало-помалу взялась поправляться. А на следующий

год ухнул такой урожай, что не отъестся было бы стыдно. Постепенно у Настены разгладились ранние морщины на лице, налилось тело, на щеках заиграл румянец, осмелели глаза. Из недавнего чучела вышла невеста хоть куда. Там, в Рютиной, и встретил ее спустя два года Андрей Гуськов, чужой, но расторопный и бравый парень, сплавлявший на плотях горючее, которое брали в цистернах неподалеку от этой деревни. Сговорились они быстро: Настену подстегнуло еще и то, что надоело ей жить у тетки в работах, гнуть спину на чужую семью. Доставив в МТС бочки с горючим, Андрей тут же, не мешкая, прикатил на пароходе обратно и увез Настену в свою Атамановку.

Настена кинулась в замужество, как в воду, — без лишних раздумий: все равно придется выходить, без этого мало кто обходится, чего ж тянуть? И что ждет ее в новой семье и в чужой деревне, она представляла плохо. А получилось так, что из работниц она попала в работницы, только двор другой, хозяйство покрупней да спрос построже. Гуськовы держали двух коров, овец, свиней, птицу, жили в большом доме втроем. Настена пришла четвертой. И вся эта тягость сразу свалилась на ее плечи. Семеновна давно уже ждала невестку, чтобы сделать себе наконец послабление, и, дождавшись, расхворалась, у нее стали сильно отекают ноги, ходила она тяжело, переваливаясь с боку на бок, как утка. Но хозяйкой оставалась она, всю жизнь Семеновна крутила это колесо, и сейчас другие руки, взявшиеся за него, казались ей и неловкими и ленивыми потому лишь, что это были не ее руки. Характер у нее выказался несладкий: то она принималась ворчать, не терпя ни возражений,

ни оправданий, то в злости надувалась и не хотела сказать ни слова — надо было иметь каменное, как у Настены, терпение, чтобы не схватиться с ней и не разругаться. Настена обычно отмалчивалась, она научилась этому еще в то кусочное лето, когда обходила с Катькой ангарские деревни и когда каждый, кому не лень, мог ни за что ни про что ее облаять. Конечно, будь она из местных, из атамановских, живи тут же ее родня, которая при случае могла заступиться, не дать в обиду, то и отношение к ней было бы другое, но она, сирота казанская, неизвестно откуда взялась, принесла с собой приданого одно платишко на плечах, так что и справу ей, чтобы показаться на люди, пришлось гоношить здесь же, — вот как осело на душе у Семеновны, вот что в ненастную пору подливало ей масла в огонь.

Впрочем, с годами Семеновна свыклась с Настеной и ворчала все меньше и меньше, признав, что невестка ей попалась и покладистая, и работающая. Настена успевала ходить в колхоз и почти одна везла на себе хозяйство. Мужики знали только заготовить дров и припаси сена. Ну и если бы крыша над головой упала, тоже подняли бы, а, скажем, принести с Ангары воды или почистить в стайке считалось неприличным для мужика, зазорным занятием. Семеновна на своих ходулях далеко достать не могла, всюду вертелась Настена, без которой уже нельзя было обойтись, и это поневоле смиряло свекровь. Одно она не хотела ей простить — то, что у Настены не было ребятишек. Попрекать не попрекала, помня, что для любой бабы это самое больное место, но на сердце держала, тем более что и Андрей у них с Михеичем остался единственным, за первого, второго

и третьего, потому что две девчонки до него не выжили.

Бездетность-то и заставляла Настену терпеть все. С детства слышала она, что полая, без ребятишек, баба — уже и не баба, а только полбабы. Настена и не подозревала в себе этой порчи и пошла замуж легко, заранее зная бабью судьбу, радуясь самой большой перемене в своей жизни и немножко, задним числом, как это обычно бывает, жалея, что походила в девках мало. Андрей был с ней ласковым, называл кровиночкой, они на первых порах и не думали о ребятишках, просто жили друг возле друга, наслаждаясь своей близостью, и только. Ребенок мог бы этому счастью даже помешать. Но затем как-то исподволь, исподтишка, оттого лишь, что появилась опасность нарушения извечного порядка семейной маеты, возникла откуда-то тревога: то, чего вначале избегали и боялись, теперь начали караулить — будет или не будет? Шли месяцы, ничего не менялось, и тогда ожидание переросло в нетерпение, потом — в страх. За какой-то год Андрей полностью переменялся к Настене, стал занозистым, грубым, ни с того ни с сего мог обругать, а еще позже научился хвататься за кулаки. Настена терпела: в обычае русской бабы устраивать свою жизнь лишь однажды и терпеть все, что ей выпадет. К тому же виноватой в своей доле Настена считала себя. Лишь однажды, когда Андрей, попрекая ее, сказал что-то совсем уж невыносимое, она с обиды ответила, что неизвестно еще, кто из них причина — она или он, других мужиков она не проговала. Он избил ее до полусмерти.

Правда, последний год перед войной они прожили легче, как бы начиная заново свыкаться друг